

Константин Леонтьев

Хризо



Константин Николаевич Леонтьев

Хризо

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2472145

Аннотация

«...Право не знаю, что тебе сказать. Не потому не знаю, что нечего, а потому, что очень много материала. С чего начать?

Не знаю, что предпочесть!

Начну хоть с сестры. Когда бы ты знал, как она очаровательна! Впрочем, нет: Розенцвейг от нее в восторге; но тебе бы она не понравилась; она слишком *не развита*, сказал бы ты. Пусть так!

Описать тебе ее я не могу. Что я скажу: ей еще нет шестнадцати лет; зовут ее «Хризо», и это значит по-гречески *золото*...»

Константин Леонтьев

Хризо

Повесть из критской жизни

От Георгия Николаидиса

к Александру Петровичу Б-ну

(в Москву)

Корфу, декабря 10-го 1864 года.

Пароход наш пробудет здесь четыре часа. Я успею тебе написать отсюда. Давно ли это? Боже мой! Всего пять-шесть дней... Снега московские, Иван Великий, ваши санки, которые я так люблю, бедная Машенька. (Помнишь, как она мне говорила: «Какой же вы барин? Вы разве барин, – вы грек».) Потом Петербург; за Петербургом прусские поля, зелень, чуть покрытая морозом; немки, немцы; Бреславль и его древний собор; ночью в Вене – пуховое одеяло, слуги, которые, по правде сказать, больше похожи на секретарей посольства, чем на слуг; Св. Стефан, Триест... Русское все исчезло... Нет, виноват, не все... Под самой Веной, ночью, какой-то бедняк принял мои вещи в вагон, и когда я дал ему флорин, он схватился за ручку дверцы и спросил:

– Захватить вас, пане?

Откуда этот малоросс?..

Только здесь, в Корфу, я как будто приблизился снова к России... Лимонные деревья и розы в цвету, оливы, мои родные оливы, зеленее, чем летом. На улицах нельзя ходить в пальто... Ты скажешь: где ж Россия?

Где она? Когда я сошел с парохода, старик-лоцман, наш же грек, сказал мне:

– Зайдем вместе к Св. Спиридону и поклонимся мощам его, чтоб он нам до Сиры море хорошее дал...

Мы помолились, и тут я, на другом конце земли, посреди роз и лимонов, глядя на священников и на серебряную раку, почувствовал себя еще роднее русским, чем был в Москве... Ты смеешься, я знаю. Мне, конечно, не переделать тебя; но грек никогда таким материалистом не сделается, каким бывает русский студент. Я, впрочем, уверен, что и ты переменишься.

Ну, прощай. До самой Кандии не возьму уже пера в руки. Прощай, мой добрый, мой верный друг, тысячу раз обнимаю тебя.

Твой Ник-с.

Января 25-го 1865 г., Халеппа.

Здравствуй, здравствуй, милый мой! Вот уже около месяца, как я на родине; всех увидел: отца, мать, брата и сестру, старых соседей и родных. Я долго не писал... Но, если бы ты знал, как здесь приятна лень! Что за край моя родина! Что за милый край! Как бы мне назвать мой божественный ост-

ров? Райский угол? Сад садов? Краса морей? Нет! Я назову его корзиной цветов на грозных волнах моря. Когда бы ты видел, что такое здешний грек! Как чисто его жилище, какая наша Халеппа веселая! У моря дома все белые, чистые, вместо крыш террасы, все в зелени. Тут лимоны и померанцы цветут, как снегом осыпаны; и чтобы ты знал, что это не театр, а сама жизнь, на ветках сушится простое, бедное белье... Но что я тебе скажу еще? Говорить много нет сил.

Представь себе только небо синее, море бурное, вдали снег алмазный на горах, как на московских полях, а над головой как жар горит, все в розовых цветах, наше старое персиковое дерево... Под оливами барашки гуляют и звенят бубенчиками!..

Довольно! Нет ни силы, ни охоты... Прощай. Ах, моя родина! Ах, мой Крит драгоценный! И как милы здесь девушки! и семья наша какая добрая, почтенная! Прощай!

Твой Ник-с.

10-го февраля.

Ты пишешь, что понимаешь мою любовь к родине. Неужели? Я, признаюсь, этого не ждал. Я вас, русских, не понимаю. Помнишь, когда наши товарищи студенты-поляки хвастали, как повстанцы бьют русское войско и как вешают русских, вы все молчали; я один вступился за вас, за вашу честь, и вы же смеялись надо мною и говорили: «Кто ж нынче говорит о патриотизме!» Да, может быть, с тех пор и вы перемени-

лись!.. Ты просишь также, чтобы мои письма были длиннее и подробнее; просишь картин общественной жизни в Крите. Общественной жизни, мой друг, здесь нет; а есть дивная... народная жизнь; о ней я тебе буду писать с радостью. А пока я скажу тебе, что представился вашему консулу и познакомился с здешним русским секретарем. Консул, пожилой и чрезвычайно умный человек, принял меня прекрасно и приглашал обедать почаще; а секретарь ваш – твой контраст. Такого иступленного славянофила я еще и не видал. Он православный, с немецкою фамилией – Розенцвейг. Он ненавидит свое имя и на дружеских письмах подписывается «Разноцветов». У него чахотка, и он, бедный, едва ли долго проживет. Он это понимает сам и благодарит Бога за то, что ему придется умереть в таком прекрасном месте, как Крит.

Так ненавидеть все европейское, как ненавидит Розенцвейг, по-моему, даже странно. Я еще не могу понять его. Он говорит, например, что если б у него была дочь, то он ее охотнее отдал бы замуж за молодого критского крестьянина, чем за богатого образованного европейца. Особенно французов не любит. Это не политическая вражда, а какой-то философский фанатизм! «Французская нация – это рак Европы!» – вот его слова. Я этого не понимаю. Французы, по-моему, благородны, они любят сами независимость и готовы помочь всем угнетенным народам. Розенцвейг говорит: «Что мне до этого за дело? Я бы и свободы из французских рук не принял!»

Спорить с ним я боюсь, потому что у него тогда начинается сильный кашель.

Право не знаю, что тебе сказать. Не потому не знаю, что нечего, а потому, что очень много материала. С чего начать? Описать ли тебе нашу семью, отца, мать, мою милую сестру и братьев? Рассказать ли тебе, как приехал, кого я первого встретил? Или описать здешнее «la société», и какие делал я визиты здешним иностранцам, и сколько раз слышал вопросы: «Как вы нашли вашу родину?» Или объяснить тебе, в каком положении Крит с политической точки зрения? Или описать тебе наши прогулки с Розенцвейгом по берегу моря и наши рассуждения? Для меня, по крайней мере, все это так занимательно, так ново, что я готов бы писать целые тетради, как я шел от пристани чрез гору домой, и какого цвета была земля на тропинке между травой, и сколько окон у нас в доме, и как взглянул Розенцвейг, когда я сказал о французах то-то и то-то... Готов описать и суды турецкие, и нравы наших греков, и наружность моей милой сестры...

Не знаю, что предпочесть!

Начну хоть с сестры. Когда бы ты знал, как она очаровательна! Впрочем, нет: Розенцвейг от нее в восторге; но тебе бы она не понравилась; она слишком *не развита*, сказал бы ты. Пусть так!

Описать тебе ее я не могу. Что я скажу: ей еще нет шестнадцати лет; зовут ее «Хризо», и это значит по-гречески золото; она предобрая, так обо мне заботится и сама мне сте-

лет каждый вечер постель; сама подает мне кофе и варенье, зовет меня «Йоргаки», песни поет премило.

Лучше всего я переведу тебе одну песенку, которую она поет и которая к ней самой так идет, как будто про нее сочинена.

Внизу, в саду у моря, У морского берега, Живет девушка, которую я люблю. Она белокурая и черноокая, Белокурая она и черноокая. И ей всего двенадцать лет, Ей уже двенадцать лет, а свет дневной ее не видал еще.

Только мать ее знает,
Мать ее знает и зовет: «Моя гвоздичка!»
Моя гвоздичка, корешок мой гвоздичный,
Где, гвоздичка моя, теперь благоухаешь?

Розенцвейг заставляет сестру мою беспрестанно петь эту песню, все хвалит ее. Я было сказал ему раз:

– Жаль, что мать не согласилась отправить ее в Сиру на воспитание, отец хотел.

Розенцвейг рассердился и сказал:

– Полноте, что за предрассудок! Неужели учить по моде? она и так прелесть!

Что она наивна, это правда. Я подарил ей стереоскоп и недавно объяснял ей картинки; ей понравилась особенно одна, не знаю уж кто – немка или француженка в деревенской одежде, в коротком платье, – сбирает, стоя на лестнице, виноград. Она похвалила и, обращаясь к Розенцвейгу, который

тоже тут был, сказала так серьезно:

– Какие у этих немок ноги красивые и толстые!

Я засмеялся, а Розенцвейг встал в восторге и воскликнул:

– Вот и толкуйте о ваших Афинах, о вашей Сире! Была бы она там, так вы бы этого от нее не слыхали.

Я нарочно, чтобы подразнить его немного, сказал было раз:

– Однако петербургская девица или дама не ей чета!

– Какая дама! – говорит, – я в Петербурге знал одну даму, Лизавету Гавриловну Бешметову; так она сама себя звала: *женщина-человек*, все искала обмена идей, а чтобы подать пример умеренности, носила все одно и то же платье из люстрина, цвета гусяного помета. И вы думаете, что я предпочту ее вашей сестре?

Я ожидал от него чего-нибудь подобного: я начинаю привыкать к нему и любить его.

И все наши халеппские греки его любят; между ними он очень популярен. Все они хвалят его и кончают свои похвалы одним и тем же.

– Одно слово, русский человек, хороший человек, православный человек! Жаль только, что больной такой.

Впрочем, ты не думай, что он какой-нибудь вялый или робкий. Нет, он молодец. Во-первых, он лихо ездит верхом. Вот тебе пример. К нашему дому прямой дороги снизу нет; да и вся деревня идет вниз – вверх, вверх – вниз, по горе и скалам. К нашему дому надо подъезжать или сверху или

снизу, слезать с лошади и потом уж к воротам сходить по каменной лестнице. На днях Розенцвейг был у нас и привязал лошадь внизу; когда пришло время ему ехать, я велел меньшому брату подвести ему лошадь, а брат большой хитрец и шалун; он нарочно взвел лошадь прямо к воротам наверх. Розенцвейг вышел, посмотрел вниз; пятнадцать крупных скользких ступеней. Ничего не сказал, сел и стал спускаться. Лошадь у него молодая, пугливая, скользит, ржет...

У меня сердце замерло, мать моя покачала головой и отвернулась; сестра тоже испугалась, отец был недоволен и начал бранить брата. Только старый дядя мой Яни, сказал:

– Ничего! Он знает. Русский человек!

Не довольно ли? Кажется, ты не можешь пожаловаться, что письмо мое коротко? Прощай, будь здоров и не забывай любящего тебя

Г. Н-са.

1 марта 1865 года.

Ты спрашиваешь, что же это такое Халеппа, Халеппа, Халеппа? А где она, ты не знаешь. Это правда, виноват; мне показалось, что весь мир должен знать мою бесценную Халеппу!

Халеппа – это деревня, в полчасе ходьбы от города Канеи. А город Канея, это наш критский Петербург. Есть у нас и Москва – Ираклион, или Кандия, которую зовут также Мегало-Кастро. Ты, я думаю, читал (а вероятнее, что нет; ты все

«Крафт-унд-Штофф» читаешь), что Кандию турки осаждали 25 лет и что под стенами ее погиб герцог де-Бофор, которого во время Фронды звали «le roi de la Halle» и который был так популярен между парижскою чернью.

Ираклион – наша древняя столица, в ней живет митрополит всего острова; там религиозное чувство сильнее; там и турки страшнее фанатизмом. А Канея – это Европа; здесь светская власть – паша, который говорит по-французски; здесь веют консульские флаги всех держав, здесь «la colonie européenne»; горсть купцов средней руки, докторов, шкиперов европейских, чиновников. Канея – наш Петербург, «рак Крита», по Розенцвейгу.

Не знаю, право, рак ли это, и съест ли он нашу национальную физиономию; но знаю только, что город грязен и душен, заперт в крепости, тесен, скучен. Но и в нем, если хочешь, есть своя поэзия; он напоминает описания и картины средних веков: узкие улицы, которые еще недавно (при Вели-паше), чуть-чуть не обагрились кровью... Экипажей нет; толпы пешеходов и верховых; все тяжести возят на мулах и ослах; одежды пестрые, речи шумные, лавки плохи. По захождении солнца ворота крепости запирают, и уж ни в город не пустят, ни из города не выпустят никого, конечно, кроме консулов и чиновников консульства, но и для тех отпирают такую маленькую калитку, что в нее и среднего роста человек проходит с большим трудом.

Я в Канею почти никогда не хожу. «La société» терпеть

не могу; иностранцы здешние так самоуверенны, так гордо смотрят на турок и на греков, так презирают все восточное, а сами так пусты, суетны и алчны, что даже и не смешны; они даже и в злую комедию не годятся, в них ничего резкого нет. По желанию матери и по совету консула, я почти всем им сделал визиты: никто почти не заплатил мне их. С какой стати пожилым и *образованным* членам «de la colonie européenne» платить визит Йоргаки Николаидису, сыну лавочника, который торгует маслинами и мукой и носит шальвары и феску! А они не лавочники? Мой отец не им чета! Он бился с турками еще отроком, и на груди его один шрам благороднее их самодовольных лиц! Но то мой отец, а они европейцы! Они говорят по-французски; они книги торговые ведут по всем правилам бухгалтерии; они не носят фески и дорогих шальвар, как мой отец, а старые протертые сюртуки и панталоны... Моя сестра не умеет танцевать польку, а их дочери умеют. И когда бы ты видел, как они все дурны собой! Нет, прав мой бедный Розенцвейг. Я становлюсь его адептом и начинаю ненавидеть Запад.

Прощай! И писать больше не буду, пока не получу ответа, что ты согласен со мной!..

Твой Г. Н-с.

5-го апреля.

Я очень рад, что ты со мной согласен, хотя Розенцвейг, которому я показывал твое письмо, говорит, что у тебя на

уме *другое*, а у нас *другое*. Ты говоришь, что западная буржуазия отживает свой век, и что у русских потому есть великая мировая будущность, что только в их среде могут развиться какие-то новые люди, чуждые всего того, что теснит европейцев. Ты прибавляешь также, что будущность России в высшей степени космополитическая.

Что мне с вами делать? Ты одно, а добрый мой Разноцветов другое!

Много мне писать тебе некогда сегодня, я хотел только сдержать слово. Мы все сейчас едем в сады Серсепильи к двоюродному дяде моему Рустем-эффенди. Уж сын его Хафуз, мой любимый товарищ детства, привел для меня самого лихого коня, а для милой сестры моей – такого чистого, красивого и смиренного осла, что просто игрушка... Все мы едем: отец, мать, братья, сестра, Хафуз и Розенцвейг с нами... И даже она... А! Вот еще на радость твоему космополитизму: она – еврейка, невестка банкира Самуила Нардеа. Радуйся же: сам я грек, дядя мой турок, у меня здесь два друга – один русский, другой турок, а предмет любви – роза Палестины...

Вот тебе «la sainte alliance des peuples!» Прощай, ослы наши кричат, и сестра уже зовет меня: «Йоргаки! Йоргаки! Мадам Нардеа пришла!» Вот счастье-то! Прощай.

Твой Г. Н-с.

16-го апреля.

Кто ж она? И как я полюбил ее? И как это возможно, чтоб

у эллина был дядя турок? И с какой стати его сын Хафуз мне друг? И что такое Серсепилья?

Не знаю, достанет ли у тебя сил читать все это; но я берусь тебе все объяснить подробно.

Что такое Серсепилья? Это рай земной! Когда мы выходим с Розенцвейгом гулять, мы всегда сядем на горе за Халеппой и глядим на эти дальние оливковые рощи. Но что я скажу о них? Какие слова передадут тебе поэзию этого леса древних олив, деревень полуразрушенных и полудиких, стен, покрытых плесенью, цветов, которые ползут по стенам или ниспадают с террас?.. Издали картина величава и таинственна: над морем широких олив столбами возносятся тополи, белеют там и сям башни, стены больших зданий, и стелется дым из незримых, убогих очагов... О, друг мой! Как прекрасна моя родина! Как прекрасен молодой грек, когда он в пышной и яркой одежде идет по тихой сельской улице гордою поступью! Как мила, как опрятна, как свободна в обращении и как чиста нравом наша девушка! Как величав, строг и прекрасен наш простой старик в высокой феске и седых усах! Слушай, друг мой: всякий любит свою родину сердцем... Но счастлив тот, кто может сказать, за *что* он любит ее! О, если бы в этой дивной стране, у этого прекрасного народа, были достойные вожди! Но их нет пока... и не знаем, откуда их ждать. И не думай, что я увлекаюсь только телесною красотой моих критян или храбростью их, или поэзией простого быта в живописной стране... Поверь мне,

что нет. Мои греки без силы, без вождей, без помощи ждут освобождения и дождутся его. В глухих деревнях, в горах, до того неприступных, что мул, не рожденный в них, не смеет ступить на их стремнины, — и там эти красавцы и бандиты, которых рука так легко хватается за нож, и там они спешат учиться; и там заводят школы, выписывают учителей из Греции, похищают их ночью с оружием в руках, когда турки пытаются прервать эту связь со свободными Афинами. О, мой милый, русский друг! Люби моих братьев, критян; если ты холоден к поэзии и красоте и не в силах их любить, как Розенцвейг, за красоту и за высокое сочетание изящного и сурового в их чудной жизни, то люби их за гордые, свободолюбивые чувства, за пожирающий их сердца пламень независимости.

Твой Г. Н-с.

20-го апреля.

Итак, я не сдержал обещания, я не сказал тебе еще ни о первой моей встрече с *ней*, ни о Рустем-эффенди, ни о Хафузе. Если бы ты знал здешнюю жизнь так, как я знаю русскую, так мне было бы легко рассказывать тебе просто, что случилось со мной и с моими близкими. Но вы, русские, разве вы знаете, как живут здесь люди? Вы знаете последний переулок в Париже, но что делают греки, как живут они, и почему живут они так, а не иначе, что вам за дело! А народ наш любит вас и чтит ваше правительство. Только для

вашего консула стоит в нашей халеппской скромной церкви кресло, обитое красным сукном; только к нему идут люди с поздравлением в праздники; только за вас нашего доброго сельского священника, отца Анатолия, во время Крымской войны заключили турки в тюрьму. За вас, за победу вашему оружию он громко молился в церкви... Только на ваш флаг с любовью и надеждой смотрит, вздыхая, мой отец... Только ваше имя с любовью произносится в самых диких ущельях гор, и, садясь за стол вашего чиновника, наш гордый остро-вительнин шепчет, крестясь: «Вот в первый раз пришлось мне сесть за истинно-православную трапезу!»

Да, правда, и наши греки вас не знают, ни пороков, ни высоких ваших свойств не изучили, как бы должно. Но они верят в вашу силу, они любят вас, и старое добро ими не забыто. Прости же мне, что я все прерываю мой рассказ, прости моим беспорядочным порывам. Когда сердце полно, как совладеть с ним, добрый друг?.. Опять брошу письмо и начну его тогда, когда успокоюсь...

22-го апреля.

Довольно! Теперь я не скажу ни слова о моей родине. Я сейчас только вернулся от нее... Ее зовут Ревекка. Когда бы ты знал, какие у ней золотые волосы и как она сама бела и стройна! Она выросла в Константинополе, говорит хорошо по-гречески, читает Шиллера и по-турецки знает. И какая она хитрая и ловкая... Как она вьется передо мной, словно

змейка, и скользит из рук! Я без ума от нее! Мужа ее нет; он торгует в Англии и приезжает сюда раз года в два, в три. Она живет у старика, своего свекра. Старик и жена его смотрят за ней очень строго; однако с тех пор как они на лето переехали в Халеппу и наняли дом близко от нас, я нахожу средство видаться с ней часто. Я чувствую, что нравлюсь ей, но она ужасно лукава и так тонко и ловко защищается, что даже трудно выразить эту летучую игру слов, это движение взглядов! Например, она говорит мне на днях: «Я не люблю греков». – За что? – «Они такие сердитые; я боюсь их». И смотрит мне невинно прямо в глаза, как будто я не грек. А потом начнет хвалить брюнетов и говорить: «Какие здесь, в Крите, мальчики все хорошие. Черноглазые такие, щеки розовые, лица нежные; вот и ваш младший брат какой красивый!» А младший брат, все говорят, на меня похож. На днях она рассердилась на меня за то, что я дал на Пасху нашим халеппским детям денег и старый сюртук мой, *чтобы жечь жиды*... Как жечь жиды? (Ты в ужасе! вот и опять отступление; чем же я виноват?) Наши дети на Пасху, в самую ночь под Светлое Христово Воскресенье, делают из соломы большую куклу на церковном дворе, надевают на нее шляпу и старое еврейское платье, стреляют в нее из пистолетов, и кукла загорается. Хохот, радость и шум такие, что заглушают на миг церковное пение. И ко мне пришли дети и просили «на жиды». Я дал им 5 руб. Ревекка узнала об этом, начала меня упрекать и бранить греков варварами и фанатиками. Я

смеялся, и она, наконец, так рассердилась, что ушла с террасы и целую неделю не показывалась. Вчера я шел мимо их дома, она сидела за калиткой, в тени, вместе с свекровью, и работала. Я даже обрадовался, что она не одна. При свекрови она не покажет, что дружба наша уже доходит и до ссор! Я поклонился, и она поклонилась. Я сел и спросил, как ее здоровье. Она говорит:

– Дурно; ваш Крит такой вредный. От южного ветра голова все болит. И скука! Константинополь – вот это город. А здесь что?

Я говорю ей:

– Если угодно, мы для вас и Константинополь возьмем. Только не сердитесь.

– Если, – говорит она, – ваши греки возьмут Константинополь, так я туда никогда не поеду! Турки гораздо лучше вас...

Старуха тоже вмешалась и говорит:

– Нет, зачем же так хулить греков? И греки хорошие люди; правда, что уж если турок добрый родится, так уж лучше доброго турка нет человека на свете!

– А стихи какие у них хорошие есть, и песни, и поговорки, – говорит Ревекка. – А у вас что? Все *поли-кало* и *поли-кало*. Вот у меня есть одна поговорка турецкая... (и она достала из кармана записку и подала мне). Прочтите...

Я читаю и вижу, что турецкие слова написаны латинскими буквами:

«Гель, кузум, баришелйм; хер кабат бендедер. Некадар кабат сендеольсун, гене гёзюм бендедер!»

Ни старуха, ни я по-турецки не знали, и Ревекка сперва прочла записку громко, с большим выражением, а потом перевела ее:

«Поди сюда, помиримся, мой ягненочек; вся вина моя. А если бы вина была и твоя, все-таки ты очи главы моей!»

– Прекрасно! Прекрасные слова! – сказала старуха.

А я от радости сам не свой; ответил, однако, с презрением, что ничего особенно хорошего в этих словах не вижу и, как будто раздосадованный, встал и простился. Старуха говорит:

– Вы, пожалуйста, не обижайтесь. Ревекка это шутит.

А я говорю:

– Нет, мадам Нардеа всегда бранит моих соотечественников и хвалит турок. Я вижу, что она греков ненавидит!

А сам взял записку и домой пришел такой веселый, до поздней ночи все мне хотелось петь и играть с сестрой и братом.

Прощай. О Рустем-эффенди и о Хафузе в другой раз.

23-го апреля.

Это письмо не кончится, кажется, во веки веков. Рустем-эффенди и Хафуз насильно рвутся в него. Сегодня Хафуз прискакал к нам из Серсепильи весь бледный и дрожащим голосом вызвал моего отца в другую комнату. Долго шептались они, потом отец велел оседлать свою лошадь, и

они уехали вместе. Мы все напугались; сестра стала плакать; наконец пришел мой младший брат Маноли и сказал, что Рустем-эффенди хотят за долги посадить в тюрьму, что корабль его с маслинами и другими товарами потонул, и заплатить нечем. А долгу больше 20 000 пиастров (это на ваши деньги немного побольше 1000 руб. сер.).

Отец ночевал у Рустема, вернулся рано утром и сказал мне:

– Слушай, Йоргаки, вот тебе 15 000 пиастров, сходи к Самуилу, возьми у него на два месяца еще 5000; вот тебе и расписка моя ему. А от Самуила поезжай прямо к дяде Рустему и отдай ему деньги. Да не забудь, много-много поклонов ему от меня. А я усну немного.

Я спросил:

– А расписки с него не надо?

– Что за расписка с Рустем-эффенди! – сказал отец.

Вот какие друзья мой отец и Рустем-эффенди! Когда еще в 21 году было в Крите восстание, отец был в горах с восставшими греками, а Рустем-эффенди тогда еще был молод и жил с женой (у критских турок всегда одна жена), с матерью и двумя сестрами в Рефимно и торговал спокойно. С инсургентами дрались войска, и Рустема, как одинокого мужчину в большой семье, не взяли в солдаты. Пришлось раз в горах нашим терпеть тяжкую нужду и голод. Стали думать, что бы и где бы достать? Мой отец видит, что достать негде и что пропадут «христианские души» с голоду, или что при-

дется поклониться паше и положить оружие; помолился он и пошел ночью в загородный дом Рустема. Стучится – не отворяют; громко стучать опасно: не услышали бы соседи-турки. Помолился еще раз мой отец и полез на стенку. Подняли собаки лай.

– Кто там? кто там? – закричали женщины.

Рустем отворил окно и курок взвел.

– Кто там?

Отец сказал:

– Я.

– Да кто ты? Я тебя вижу и выстрелю; ты скажи имя, – спрашивает Рустем-эффенди.

Отец сказал свое имя.

– А! Милости просим! Огня, огня! Да потише, чтобы соседи не слышали.

Накормили, обогрели отца; навьючили ему на мула хлеба, сыру, табаку дали и отпустили, а Рустем-эффенди сказал ему на дорогу:

– Да спасет себя Бог, несчастный!

Только тетка-старуха, мать Рустема, вышла к отцу и долго ругала его и всех греков; проклинала и веру нашу, и нас самих, и всех гяуров, только все по-гречески и *тихо*, чтобы соседи не услышали.

Вот с тех пор и дружба их. У Рустема-эффенди один только сын, тот Хафуз, о котором я уже писал. Такой он славный малый и молодец! Конечно, как и все здесь, человек простой,

по-французски не знает, платья европейского не носит. Но по-восточному он довольно образован: по-турецки учился, что здесь очень редко, и по-арабски читает хорошо. Между турками он слывет за ученого юношу. Мы с ним в детстве были самыми душевными друзьями; без Йоргаки Хафуз не хотел играть и без Хафуза Йоргаки. Первое наше удовольствие было босиком, засучив шаровары, морских ежей ловить в море, около камней; разрежем их и едим.

Только раз мы поссорились, и то я был виноват.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.